

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

БК



Лорд
Дансейни



ПРОКЛЯТИЕ
ВЕДУНЬИ

« А З Б У К А »

Лорд Дансейни
Проклятие Ведуньи

«Азбука»

1933

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Дансейни Л.

Проклятие Ведуньи / Л. Дансейни — «Азбука», 1933

ISBN 978-5-389-31179-4

Эдвард Джон Мортон Дракс Планкетт, 18-й барон Дансейни, публиковавшийся как лорд Дансейни, — знаменитый автор множества романов, пьес и литературных сказок, стоявший у истоков самого жанра фэнтези. Едва ли не первым в европейской литературе он создал целый «вторичный мир» — со своей космологией, мифологией, историей и географией. Его мифология повлияла на Лавкрафта, Толкина и Борхеса, а парадоксальный юмор, постоянная игра с читательскими ожиданиями — на Нила Геймана и на всю современную ироническую фэнтези. В данной книге вашему вниманию предлагается роман «Проклятие Ведуньи».

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-31179-4

© Дансейни Л., 1933
© Азбука, 1933

Содержание

Глава I	7
Глава II	13
Глава III	17
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Проклятие ведуњи

Переводчик: Светлана Лихачева



A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to Lord Dunsany. The signature is fluid and cursive, with a long, sweeping tail that extends to the right.

Lord Dunsany

THE CURSE OF THE WISE WOMAN

Copyright © The Estate of Lord Dunsany, first published 1933

This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK
and The Van Lear Agency

All rights reserved

© С. Б. Лихачева, перевод, 2025

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®

Глава I

Так уж вышло, что я сейчас живу в чужой стране, в маленьком захолустном городишке, заняться мне тут особо нечем – и уж всяко нет тут другого такого интересного и утешительного занятия, как предаваться воспоминаниям. Впрочем, память у меня уже не та. Если месье Альфонс, как я его зову, потому что так и не выучил его диковинное балканское имя, меня однажды спросит, какой сегодня день недели, я, пожалуй, не смогу ему ответить, и однако ж эпизоды моей молодости стоят у меня перед глазами по-прежнему ясно; люди и вещи, которые видишь в течение дня, не так живо и четко вспоминаются ввечеру, как все то, что случилось пятьдесят лет назад. Месье Альфонс – едва ли не единственный мой собеседник; он заглядывает мало не каждый день пропустить вместе со мной рюмочку абсента; а когда он уходит, я остаюсь размышлять о прошлом. Да вот только на днях, когда под моим окном в солнечных лучах расшумелись ласточки и меня вновь захлестнули воспоминания, яркие как никогда, я подумал, что недурно бы их записать, – ведь это воспоминания о той Ирландии, которой, как меня уверяют, больше нет. И сдается мне, что, ежели совсем позабудутся дела тех дней, мир утратит память о прекрасной и счастливой стране: тем хуже для него. Или это была горестная, угнетенная страна, как говорят иные? Не знаю. Мне так не казалось.

Что ж, начнем. Меня зовут Чарльз Джеймс Перидор. Дату событий не помню. Зато помню, что слышал имена Гордона и Гладстона¹, и как-то раз в новостях мелькнула потеря Хартума²; а мне, верно, было около шестнадцати. Так вот, примерно тогда все и случилось; ведь это не дата маячит перед моим внутренним взором ярко и живо, как листья липы под моим окном, но все то, что я видел мальчишкой; примерно в ту пору я и сидел рядом с отцом у очага поздним зимним вечером в нашей усадьбе под названием Хай-Гаут. О дате постройки дома ничего вам доподлинно сообщить не могу. Его возвел один из наших предков, личность историческая, но произошло это примерно в то время, когда история Ирландии начинает обрастать фантастическими подробностями, так что правильнее просто сказать, что дом был очень, очень стар. К какому периоду принадлежали его меблировка и всевозможные технические приспособления, скажу сразу: ни к какому. Когда стулья и все такое прочее ветшали, их заменяли; если у предметов обстановки и было что-то общее, так только то, что все это покупала одна и та же семья (пусть и в разных поколениях). Где-то старина уместна, где-то – нет: уместна применительно к стенам; неуместна применительно к коврам, равно как и к шторам, и к обоям, и к каминным коврикам. А у нас старина царила повсюду, куда ни глянь. Отец держал только одну служанку на весь большой дом, и, хотя она старалась как могла, в какую комнату ни зайдешь, видно было, что паук побеждает. Вот еще что из событий того дня стоит у меня перед глазами не менее четко, чем воспоминание о том, как мы с отцом расположились перед очагом в библиотеке: длинный как жердь человек в потрепанном черном пальто ниже колен несется галопом по деревенской улице, где все дома крыты соломой и все приземистые стены побелены и блестят под солнцем. Строго говоря, своими глазами я ничего подобного не видел, но в юности я так живо представил себе эту сцену, когда всадник прискакал в Хай-Гаут и закричал: «Я всю дорогу от Лисроны галопом мчался, чтоб вам сказать: на болота гуси прилетели!» – что по

¹ Уильям Юарт Гладстон (1809–1898) – британский государственный деятель, стоял во главе Либеральной партии, премьер-министр Великобритании в 1868–1874, 1880–1885, 1886 и 1892–1894 гг. Чарльз Джордж Гордон (1833–1885) – британский генерал, отличился в Крымской войне и в войнах против Китая; возглавил оборону Хартума, погиб при взятии города восставшими суданцами.

² Хартум – столица Судана; в ходе англо-суданской войны Хартум был осажден суданскими повстанцами; осада, длившаяся с 13 марта 1884 г. по 26 января 1885 г., окончилась взятием города и гибелью всего гарнизона во главе с генералом Чарльзом Гордоном. После этого поражения Британская империя была вынуждена на некоторое время отказаться от претензий на Судан.

сей день сберегаю заветное видение в числе прочих моих воспоминаний. Душу мне пронзила острая радость, навеки запечатлев эту картину в моем сознании: в те времена охота была для меня самым увлекательным приключением; а до сих пор мне не доводилось подстрелить птицу крупнее фазана; и гусь, этот серый заоблачный странник, сторожкий и редкий, само воплощение романтики, в моих глазах казался трофеем куда более ценным, нежели любой другой приз, что мир в состоянии предложить мне сейчас. Да только отец не отпустил меня в Лисрону, потому что я домашнее задание не сделал. Нам задали прочесть на каникулах какой-то там роман Диккенса, и все остальные мои итонские однокашники, конечно же, рассчитывали пролистать книгу уже в поезде, по дороге от Паддингтонского вокзала. Теперь-то я знаю: за пятьдесят минут в переполненном железнодорожном вагоне роман Диккенса вряд ли прочтешь; но ощущение, что отец ничегошеньки не понимает, оно глубже, древнее и сильнее. Да-да, оно по-прежнему со мной, никуда не делось.

Словом, сидели мы ввечеру у огня в библиотеке, час был поздний, отец велел принести ему стакан молока – он всегда выпивал виски с молоком перед тем, как лечь в постель. Мы сидели вдвоем: матушка моя умерла много лет назад. Во всем огромном доме, кроме нас, были только кухарка, да судомойка, да единственная служанка; дворецкий жил в полумиле от усадьбы и давным-давно спал. Да, еще мальчишка был, он ютился на чердаке над конюшней и днем помогал по хозяйству. Мы с отцом по большей части помалкивали. Надо думать, я разобиделся, что в Лисрону меня не пустили. Уже и не помню. Разумеется, меня загодя предупреждали насчет каникулярного задания; отец о нем то и дело напоминал, а я так до сих пор за Диккенса и не взялся: отчасти из-за лени – наверное, главным образом из-за нее, родимой; а отчасти потому, что мне казалось, будто у отца к домашним заданиям отношение в корне неправильное, ну, то есть в *моем* мире на домашние задания смотрели иначе. Отца я слушался – насколько слушаются мальчики в большинстве своем. Но было одно прелюбопытное требование, которое он вдалбливал мне в голову изо всех своих сил – всех, что у него еще остались, когда он состарился, и даже больше, как будто он призвал на помощь какие-то скрытые резервы. Требование это заключалось вот в чем – если однажды в этой самой комнате он скажет мне: «Посмотри на картину», я должен буду немедленно подойти к небольшому голландскому полотну, висящему в дальнем конце комнаты, и как следует его рассмотреть; не помню, как долго мне полагалось его разглядывать, но главное – повнимательнее к деталям. Так вот, если он произнесет эти самые слова, пусть я не думаю, что он это не всерьез, что это шутка такая или что время терпит. Отец повторял мне это снова и снова. Почему? Он так и не объяснил почему.

Словом, сидели мы в библиотеке, дом был заперт, отец всегда сам дотошно проверял, надежно ли замкнуты ставни, и я, помнится, думал про себя, что это лишняя предосторожность, мы ж со всеми нашими соседями в дружбе, но, когда я сказал отцу что-то в этом роде, он ответил:

– Никогда не знаешь, кто явится из-за болот.

Действительно, по другую сторону болота высились холмы, нам незнакомые. Однако в ту пору мысль, будто кто-то из тамошних способен питать к отцу вражду, казалась мне полной чепухой; в конце концов, отец был не настолько деятелен и не настолько на виду, чтобы кого-то против себя настроить; но так рассуждал про себя подросток, забывая, что некогда отец был моложе.

Если мы тогда о чем-то и заговаривали, то только о Лисроне: мне хотелось ненавязчиво выпытать, в какой из дней мне разрешат поехать пострелять гусей; и тут служанка принесла высокий стакан с молоком – отец сам его смешивал с виски, сперва попробовав молоко на вкус, чтобы убедиться, что оно не кислое. Служанка вышла из комнаты; отец взял за стакан, стоявший на столе перед ним. Сейчас отец мне видится куда яснее, нежели все те, с кем я встречался не далее как вчера: высокий, худощавый, с точеным профилем, и в седеющей бороде

играют отсветы пламени. А я все говорил про Лисрону. Я думал, отец все-таки разрешит мне поехать завтра, но он со всей категоричностью заявил:

– Не на этой неделе.

Я хорошо помню эти слова, потому что для меня они прозвучали провозвестием катастрофы, ведь мне отчаянно хотелось в Лисрону, пока гуси не улетели, – и еще потому, что это были последние слова, которые я слышал от отца, не считая еще трех. Он поднес стакан с молоком к губам, снова отставил его, повернулся ко мне и приказал:

– Посмотри на картину.

Отец произнес это вовсе не тем властным, непререкаемым тоном, которого я мог бы от него ожидать, – если, конечно, вообще ожидал, что он эти слова когда-нибудь все-таки произнесет, – и куда менее властно и непререкаемо, нежели когда запретил мне ехать в Лисрону; он словно бы бесконечно устал.

Я сделал, как меня учили. Я направился напрямик к картине, даже не думая, что отец говорит это не всерьез или что время терпит; я подошел к небольшому голландскому полотну и долго рассматривал крохотные фигурки, что катились себе на коньках по серому льду мимо церквей и ветряных мельниц. Картина висела у самой двери – у единственной двери в комнату. Дверь стояла закрытой – и тут вдруг распахнулась, и вошли четверо дюжих верзил. Я обернулся – отца рядом не было.

Я сразу понял, что эти четверо – с той стороны болот: смуглые, темноволосые чужаки, на наших непохожие. Они внимательно оглядели комнату, затем один из них пристально взглянул на меня и заявил:

– Мы к вашему батюшке со всем уважением, вот только в политику он зря ввязался; так что, как мне ни жаль, надобно нам с ним потолковать по душам.

Я сразу понял: они пришли убить моего отца.

Я и говорю:

– Он у себя наверху, давайте я схожу позову его.

– Ну уж нет, сэр, – отозвался все тот же верзила. – Мы пойдем с тобой.

Они заглянули за шторы в библиотеке и за диван, ничего не нашли, и тогда я медленно зашагал вверх по лестнице, а они за мной. Я шел так неспешно, что один из них прикрикнул:

– Да пошевеливайся уже!

Тогда я рванул вперед, пробежал до конца лестничного марша, споткнулся и растянулся на верхней ступеньке. С трудом поднялся и, прихрамывая, заковылял дальше. Все это позволило мне выиграть время.

Когда я дошел до дверей отцовской спальни, я постучался, но чужаки оттолкнули меня и ворвались внутрь. В комнате было темно, я раздобыл спички и зажег им свечу; незваные гости тщательно осмотрели спальню, а мы снова выиграли немного времени. Я сказал:

– Он, верно, у себя в кабинете. – И тут же добавил: – Или в другой спальне. Может, начнем с нее?

Но тот верзила, что говорил от имени всех, сказал:

– Веди в кабинет.

Я послушался, и мы все спустились на первый этаж. А я все просчитывал у себя в голове, далеко ли ушел отец. Как он ускользнул из библиотеки, я понятия не имел: дверь-то там только одна, и все ставни были закрыты; и все-таки он исчез! И даже если выходил он по какому-то узкому коридору и по крутой лестнице в темноте, я прикинул, что, учитывая все наши пустячные проволочки и задержки, он успел отшагать столько же, сколько и мы, и, стало быть, из дома уже выбрался. Конечно же, отец отправился в конюшню: до нее сто ярдов. Нужно еще попасть внутрь, и заседлать коня, и вывести его наружу, и проехать мимо дома к воротам: только тогда он окажется в безопасности.

Когда мы вошли в кабинет, они небось с первого взгляда поняли, что отца там нет и не было. Не в том дело, что огонь в очаге не горел; по виду комнаты и по общему ощущению сразу стало понятно: в кабинет никто и никогда не заглядывает. Действительно, мы с отцом только библиотекой и пользовались – вот разве что завтракали, обедали и ужинали в столовой. Незванные гости поглядывали на меня недобро.

– Если ты не покажешь нам, где он прячется, мы сожжем дом, – заявил один из головорезов, прежде помалкивавший.

– Не сожжете, – возразил я, глядя ему прямо в глаза.

При этих моих словах он изменился в лице, и все дружно потупились. Они знали – кто бы они ни были и откуда бы ни явились, – что в Хай-Гауте вот уже много веков хранится частица Животворящего Креста Господня: ее нам даровали в награду за помощь, которую моя семья оказала одному из римских пап в какой-то там войне. Бандиты призадумались. Им не надо было напоминать о том, что ежели сжечь святую реликвию, то унять это пламя окажется не так-то просто. Языкам того огня плясать вокруг души грешника целую вечность.

Однако ж, когда призываешь такие силы, никогда не знаешь, кому они в итоге обернутся на пользу. Предводитель повернулся ко мне и приказал принести святыню. У нас был хрустальный реликварий в форме креста с небольшой полостью внутри: там-то частица Животворящего Креста и покоилась. Я знал, зачем им понадобился Крест Животворящий: они заставят меня на нем поклясться. Я внезапно испугался – и креста, и чужаков.

Предъявить крест придется, никуда не денешься; он хранился в этой самой комнате – в маленьком золоченом ларце на мраморном столике. Ларец не запирали; нужды в том не было. Я направился к столику; они схватились за оружие. Из карманов как по волшебству появились пистолеты: я не сомневался, что они там есть, – и вот вам, пожалуйста! Незванные гости уже начинали понемногу закипать, ведь отца они так и не нашли, и я понял, что от клятвы на Кресте мне не отвертеться. Пистолеты были длинноствольные, допотопные уже по тем временам; не автоматические, как сегодня.

Я взял реликварий в руки и вернулся назад: все это время чужаки держали меня под прицелом. Я подошел к ним вплотную, воздел крест над головой – и головорезы, все как один, рухнули на колени.

– Ты готов поклясться, – спросил предводитель, стоя передо мною на коленях, но длинноствольного черного пистолета не опуская, – что, насколько тебе известно и как сам ты искренне веришь, твой отец все еще находится в доме?

Пока он говорил, я услышал негромкое «цок-цок, цок-цок» – отец как раз выезжал из конюшни. Но шел конь шагом. Это, конечно, было мудро: так меньше шуму, а потом ведь впереди еще ворота, которые надобно открыть; но я отчего-то думал, что отец все-таки пустит коня в галоп. Он почти сразу выехал на траву, и головорезы ничего не заметили, но путь его пролегал как раз мимо дома. Я-то отслеживал каждый шаг коня, но, наверное, проще расслышать то, к чему ты настороженно прислушиваешься, как прислушивался я; а чужаки глаз не спускали с меня и с креста в моей руке, дожидаясь, чтоб я заговорил, и не услышали, как конь ступает по дерну. Но, не заговори я в тот момент, всенепременно услышали бы! Отец окажется в безопасности, только когда откроет ворота, а до них еще пятьдесят ярдов.

– Я клянусь, – громко воскликнул я, – что, насколько мне известно и как сам я искренне верю, – говорил я медленно, нудно растягивая слова, чтобы заглушить звук копыт, – мой отец находится здесь, в доме.

Полагаю, люди подвергают бессмертную душу опасности куда чаще, чем нам кажется, и во имя целей далеко не столь благородных. Я здорово рисковал – и мне было по-настоящему страшно. Животворящий Крест Господень – шутка ли! Вот будь он поддельным – а (помоги мне Боже!) в подлинности его я порою сомневался, – тогда, конечно, беда невелика. А если все-таки крест подлинный, может ли он быть на стороне этой четверки и против моего отца?

Но все равно я не знал ни минуты покоя, пока не сходил к отцу Макгилликаду и не рассказал ему все как на духу.

– И ты умертвил бы родного отца, да еще и сжимая в руке Животворящий Крест Господень? – укорил священник; тогда я понял, что поступил правильно.

Я принес клятву и опустил руку со святыней; головорезы поднялись с колен – и тут я услышал, что перестук копыт стих. Отец открывал ворота.

Эта сцена жива в моей памяти по сей день, даже и вдали от Ирландии, – яркая, словно картина на стене; старинная комната в моем доме – и четверо бандитов стоят передо мною на коленях, с пистолетами наизготовку. Для того чтобы позабыть, каково это – смотреть в дуло пистолету, надо прожить много лет в покое и мире; а первый такой опыт, скорее всего, не позабудется никогда; но торжественно-серьезные, набожные лица наших гостей помнятся мне так же отчетливо, как и их пистолеты.

Я вернул реликварий на место, и головорезы принялись обыскивать дом. Отец, верно, все еще возился с воротами: я пока еще не услышал звука, которого так ждал. Наши ворота были из тех, что с седла не откроешь: спешиваться нужно. Я ходил вместе с чужаками от одной комнаты к другой; из первой же комнаты, куда мы вошли, я вдруг слышал цокот копыт. Отцовский конь пошел рысцой. Я торопливо затараторил что-то; вроде бы никто другой пока ничего не заметил. Впереди у отца были еще парковые ворота и сторожка у въезда, но мне казалось, он уже почти в безопасности. Я так и не узнал, как явились к нам эти люди – верхом, или пешком, или в повозке, и понятия не имел, есть ли у них возможность догнать всадника; но я сердцем чувствовал – отец почти спасся; и все ждал, когда же он пустит коня в галоп. Мы переходили из комнаты в комнату; чужаки тщательно обшаривали каждую, не обращая внимания на все мои подсказки и советы: я говорил не умолкая, чтобы заглушить перестук копыт, который, удаляясь, звучал все тише, и все-таки в беспредельном безмолвии ночи он был отчетливо слышен по дороге к сторожке. Четверо верзил то и дело внезапно замирали и прислушивались, пытаясь отследить, не раздадутся ли в доме шаги моего отца: вдруг он тоже переходит из одной комнаты в другую, опережая незваных гостей! – но цокота копыт так и не уловили. Головорезы заглядывали в просторные нежилые комнаты, которыми мы с отцом никогда не пользовались; оттуда веяло запустением и сыростью: с первого взгляда становилось понятно, что тут нет ни отца и ни единой живой души. И вдруг один из бандитов спросил:

– А тут призраки, часом, не водятся?

И отчасти из-за обстановки и гнетущего ощущения в комнате, где горела одна-единственная свеча, а отчасти по привычке избегать прямых ответов, которую я перенял у окрестных жителей, я сказал:

– Я бы не поручился...

Думаю, поэтому незваные гости и заторопились, а я-то, наоборот, хотел их задержать; когда же мы дошли до последней комнаты, я внезапно услышал, как в самом сердце ночи грянул дробный грохот копыт – конь пошел в галоп. Это мой отец, миновав сторожку, выехал на большой тракт. До него было около полумили, но цокот копыт в ночи, когда коня пустили в галоп, ни с чем не спутаешь. Четверо верзил словно приросли к месту.

– Это он, – сказал один.

Все оглянулись на меня, но заподозрить меня в пособничестве им и в голову не пришло; они вернулись к своим собственным планам и заторопились на выход. А я завел с ними разговор об охоте. Один заинтересовался; и вскоре я ему уже рассказывал о гусях на торфяном болоте Лисроны. Тема эта оказалась побезопаснее, чем некоторые иные, которые они могли бы затронуть, будучи предоставлены сами себе. При взгляде на моего собеседника вы бы сказали, что этот – худший из четырех, клейма негде ставить; однако ж он поведал мне про разные мелкие охотничьи хитрости, каким в глазах мальчишки цены нет; а когда понял, до чего мне неинтересно подстрелить гуся, уже на пороге посоветовал:

– Гусь на высоте долго скорость набирает. На гуся упреждение бери поменьше, чем на всякую другую птицу.

А когда все четверо уже вышли, он снова приоткрыл дверь, просунул внутрь голову и сказал – слово в слово, в точности как я записал:

– В жизни всякое случается – видит Бог, мир – место беспокойное! – ежели доведется однажды стрелять с расстояния сотни ярдов в человека, идущего шагом, бери упреждение за фут.

Глава II

Когда четверо головорезов наконец ушли, стояла уже глубокая ночь. Я вернулся в библиотеку – мы там каждый день сживали! – и уже другими глазами оглядел комнату. Дверь там была только одна, как я уже сказал; она оставалась закрытой, я находился рядом с нею, и за каких-то полминуты, пока я отвернулся, отец из комнаты исчез. В противоположном конце комнаты висело большое зеркало в тяжелой деревянной раме и стояли два шкафа темного резного дерева. Я заподозрил раму зеркала, но как ее можно сдвинуть, даже не представлял. Так что я перестал ломать голову над этой тайной и попытался разгадать другую: кто и как предупредил отца? – ведь когда отец исчез, чужаки даже до лестницы еще не дошли – шагов не было слышно. Вторую тайну мне разгадать удалось. Наверное, теперь, когда отец спасся, а головорезы убрались прочь, любопытство одержало во мне верх над всеми прочими чувствами. Я опустил в кресло, в котором до того сидел мой отец, огляделся так, чтобы видеть все то, что видел со своего места он; попытался вспомнить все, что он мог слышать, – когда служанка принесла стакан молока. Но на помощь ему пришли не зрение и не слух. Я принял ту же позу, что и он, и взялся за стакан с молоком; я даже поднес стакан к губам, как это сделал отец. И тут я все понял – даже спустя столько времени над молоком витал запах особого черного табака, который курили в тамошних местах.

Незванные гости вошли с заднего крыльца и через кухню. Причастна ли к этому Мэри, наша служанка? Понимала ли Мэри, зачем они явились? Этого я так никогда и не узнал. Но молоко вобрало в себя запах черного табака. Поскольку в доме слуг-мужчин не было, этот едкий запах, исходящий от молока, сказал отцу все, что нужно. Он, надо полагать, ожидал этих людей не первый год. А если ты днем и ночью только об этом и думаешь, так, верно, бдительно отслеживаешь любую подозрительную мелочь.

Я погасил лампу и лег спать, не сказав Мэри ни слова. Почему я не сообщил ей, что ее хозяин, к которому она была искренне привязана, покинул дом, за которым она приглядывала столько лет и который всей душой любила? Сложно сказать. Присловье «*Vox populi, vox Dei*»³ – вот вам какое-никакое объяснение. Она преданно служила нашей семье, и однако ж, думаю, уверенность в том, что народ неправ быть не может, у таких, как она, в крови. Не сомневаюсь, если бы в дом проник грабитель, она б с ним в одиночку схватилась бы; но месть – месть, что приходит из-за холмов через болото, – она, как мне кажется, воспринимала совершенно особым образом: эти ее чувства, что пересиливали в ней любую симпатию и привязанность, я могу сравнить разве что с отношением англичанина к закону. Мне нет смысла притворяться перед вами, будто я не сочувствую ирландской точке зрения: англичанин свято чтит закон, что куда как удобно для всех и каждого; но, по правде сказать, это скука смертная. А вот ирландец чтит песню, если она того стоит, пусть и не ради чьего-либо удобства; но закон не станет чтить ни за что и никогда, как бы это ни устраивало общество, потому что закон сам по себе недостаточно прекрасен и восторгов не вызывает. Эту мысль я время от времени пытаюсь донести до месье Альфонса, который знает множество песен, да только он отказывается меня понимать.

Но вернемся к моей истории. Я ничего Мэри не сказал, а утром она позвала меня, и я увидел, что по лицу ее потоками льются слезы: стало быть, она все узнала сама.

– Мистер Перидор уехал, – всхлипнула она. – Бедняжка-герцог больше не с нами.

Здесь самое время пояснить, что одному из моих предков, который последовал за Иаковом II в изгнание⁴, король даровал герцогский титул. В один прекрасный день, глядя с берега

³ «Глас народа – глас Божий» (лат.).

⁴ Иаков II Стюарт (1633–1701) – сын Карла I, король Англии, Шотландии и Ирландии, последний британский король-

Франции через пролив на английские утесы, он нарек моего предка герцогом Дуврским, и, пока семья моя жила в изгнании, глава ее носил этот титул; но сейчас мы его уже не носим. Как ни странно, все окрестные селяне помнят об этом титуле по сей день; собственно, только они и помнят.

Ну так вот, зареванная Мэри сообщила мне о том, что я и так уже знал, – что отец мой уехал, – так что мне и не пришлось ей ничего говорить; однако ж, помимо прочего, сказала она и такое, что мне даже в голову не приходило.

– Мы никогда больше его не увидим! – прорыдала она.

Выходит, я недооценил упорство четверых чужаков или могущество тех, кто их послал? И тут, несмотря ни на что, во мраке отчаяния, еще больше сгустившемся благодаря Мэри, вспыхнула мысль – точно рассветный луч в туманной мгле: я ж теперь волен поехать в Лисрону!

Я оделся и сбежал вниз. А я не назвал вам дату? Нет, не назвал. Что ж, дневников я никогда не вел и никаких дат толком не помню; даты не то чтобы сияют в памяти спустя столько лет. Но эту единственную дату я запомнил: 26 декабря. А запомнил я ее потому, что ночь, когда пришли четверо чужаков, была рождественской. Не думаю, что это случайность. Думаю, они боялись того, что им приказали сделать, и вроде как искали защиту в святости Рождества. А там – кто знает!

Так вот, спустился я к завтраку; старик-дворецкий угрюмо помалкивал. Наверное, он видел в моем лице – не мог не видеть! – отблеск той радости, с которой сердце мое обратилось к Лисроне; вероятно, радость эта читалась во всем моем облике и в каждом жесте. Не то чтобы я не переживал из-за отца – а юность умеет сопереживать глубоко и сильно; но еще сильнее я жаждал отправиться на поиски приключений в дикую глушь, туда, где вереск, и мхи, и тростники, и вязкая черная почва, и миллионы мочажин простираются вдаль сколько хватает глаз – и за пределы моих познаний. Так что старик-дворецкий держал свои мысли при себе – и со мною не поделился. Я, конечно же, понимал, что он ничего хорошего не ждет. Но обсуждать я ничего не хотел: от разговоров ведь ни толку, ни проку, и чем меньше я вникаю в дела отца, тем лучше. Я в очередной раз окинул взглядом библиотеку, высматривая дверцу потайного хода, но быстро бросил и пытаться, решив, что если буду держаться вне политики, то потайной ход мне и не понадобится. Очень скоро я уже помчался в конюшню: это серое строение, сложенное из крупного камня, могло бы вместить более двух десятков лошадей и конюхов, но на самом деле работал там только один, и, теперь, когда отец ускакал прочь на своем гунтере, в стойле оставалась только одна лошадь, упряжная; иногда – не всегда! – на конюшне помогал мальчишка, но по большей части конюх справлялся сам. Я пошел вывести упряжную лошадь, чтобы доехать до Лисронского болота. Конюха звали Райан: беседуя с ним, я постарался по возможности упоминать об отце как можно реже и уклончивее – с того самого утра я ввел это в привычку. Что ж, он запряг для меня легкую двуколку, а я между тем заглянул в оружейную комнату. Да простит мне Господь, иногда я про себя надеялся, что в Раю оружейная комната тоже есть. Вместо того чтобы принять счастливое загробное будущее на веру, как оно и подобает, я все, помнится, с большого ума гадал, а может ли счастье быть полным без того блаженного чувства, что испытывает каждый мальчишка поутру в оружейной комнате среди всевозможных принадлежностей благородной забавы, таких загадочных в полумраке; а снаружи задувает северный ветер и небо полнится предзнаменованиями. Вот такое утро выдалось и сейчас, но мне не было нужды высматривать знамения в грозном небе, ведь Марлин уже сказал мне, что гуси прилетели. Был у нас егерь, который и обучил меня всей охотничьей премудрости, так что, оглядываясь назад спустя многие годы, я упрекаю сам себя в неблагодарности: все, что говорил мне Марлин, я воспринимал как знание сокровенное и удивительное, в то время

католик, был свергнут в результате «Славной революции» 1688 г. и бежал во Францию, где Людовик XIV предоставил в его распоряжение Сен-Жерменский дворец.

как речам старика Мерфи, разумным и здравым, словно бы недоставало магии. Но Мерфи-то по большей части рассказывал об ухоженных лесах в пределах так называемого «имения», а Марлин – обо всем, что начинается там, где возделанные человеком земли заканчиваются, а иногда даже и о том, что обретается у границ человеческого опыта. Занятно, что память мою назад в те дни манят не леса, и не отчий дом, и не очевидные вехи, направляющие фантазию на путях ее странствий в глубины прошлого, но все то, что Марлин, бывало, рассказывал мне об обитателях торфяного болота. Он был болотным сторожем на службе у моего отца, а это значит... Да ничего это, в сущности, не значит, кроме разве того, что жил он вместе с матерью в побеленном, крытом соломой домишке у самого болота, которое частично принадлежало моему отцу. Где проходила граница отцовских владений, я понятия не имел; болото тянулось до бесконечности и уходило за горизонт, а куда – не ведаю. Тут и там вдоль торфяника или, может, чуть в глубину, в четверти мили от края, виднелись хижины тех, кто имел на болото права; а порою – обвалившиеся стены тех, кого не пощадило древнее запустение этой первозданной глуши; но стоило пройти по вереску минут десять, и все следы пребывания человека оставались позади. Сдается мне, из всех врагов рода человеческого красное болото, как мы в Ирландии называем эту бескрайнюю вересковую пустошь, кажется самым дружелюбным. Нет, другом его не назовешь: слишком уж часто красное болото несет человеку гибель и противостоит ему и всему его образу жизни; болото не покорить и не приручить; лишь полностью его уничтожив, человек одерживает победу над болотом и умудряется-таки на нем прокормиться, худо-бедно сводя концы с концами. Но болото утешает и убаюкивает его всю жизнь, и рассыпает мириады осколков неба у него под ногами, и одаривает пламенеющим вереском и мхами такими многоцветно-яркими, что затмят их разве что драгоценные камни; а если и заберет человека навсегда, заманив своими мхами в трясину, то так нежит его и лелеет, что те, кто его однажды найдет и откопает, обнаружат: лицо и кожа покойника таковы же, как и у их современников, и однако ж даже старожилы тамошних мест его не узнают, ибо он, скорее всего, расстался с жизнью много веков назад. Что ж, я рассказал достаточно, чтоб вы поняли: пусть проехать мне предстояло каких-нибудь четыре мили, я отправлялся в края неведомые и незнанные, вроде тех, куда попадаешь в конце долгого путешествия, – в землю настолько же непохожую на обжитые нами поля, как Сахара или индийские джунгли.

Я взял ружье и патроны, и мы с Райаном тронулись в путь, но не отъехали мы и сотни ярдов от сторожки, как повстречали Марлина собственной персоной: он шагал нам навстречу. Как же быстро новости-то разлетаются! По его лицу и по сдержанному молчанию я понял, что про моего отца он уже знает. Когда же он наконец заговорил, сказал он всего-то навсего:

– Мне тут подумалось, вы, мастер Чар-лиз, может статься, на болото решите съездить.

Вот он и отмахал добрых три мили. Мы потолковали немного про гусей; сейчас-то они не на болоте, но к ночи всенепременно прилетят, сказала его мать. Райан неотрывно глядел на дорогу и, надо думать, изо всех своих сил пытался не прислушиваться к нашему разговору. Отчасти из вежливости; но еще я в тот момент понял, что между охотой и отстрелом есть тонкое различие, как в религии между теми сектами, что на первый взгляд кажутся почти тождественными; образованные верующие этого различия не замечают, но люди попроще, у которых ничего, кроме веры, нет, они это расхождение видят – и с ним считаются. Может, конечно, были и другие разногласия, еще более глубокие, о которых мне не ведомо.

Об отъезде моего отца Марлин не заговаривал. Политику обсуждают в определенное время и в определенных местах, но ни Марлин в присутствии Райана, ни Райан в присутствии Марлина ни за что не повели бы со мною речь о том, кто затронут политикой до такой степени, как мой отец. Я предложил Марлину сесть в догкарт, и мы покатали дальше, в Лисрону. По мере приближения к болоту рельеф стремительно менялся; но никакие подробности – а моя память ими полным-полна, – не передадут самого ощущения этой перемены. Маленькие беленькие домишки, куда меньше тех, что остались позади, с дерновыми кровлями в про-

плешинах, тополя с жутковатыми когтистыми лапами, несуразные ивы, узкие проселочные дорожки – мы их называем «борины», – что деловито петляют да выются, уводя все дальше, и теряются во мху: ничего из этого не передает самой сути. Могу только сказать, что, если бы вы приближались к краю света и дальше начиналась бы волшебная страна, что-то подобное ощущалось бы в почве, и в свете, и в прохожих, встреченных по пути.

Дул могучий северный ветер – выгонял гусей из полярных земель, как я надеялся, – или, если все они уже покинули Арктику, направлял их от моря вглубь острова. Два вида гусей слетаются в наши болота, которые слишком далеко от моря для усоногих рачков; это крупный серый гусь и белолобый гусь, он помельче. И, словно чтобы лишний раз убедиться в том, что гуси никуда не денутся, я снова спросил Марлина, которых нам ждать-то. И он ответил:

– Мать говорит, летят серые гуси.

Глава III

Мы миновали крохотную деревушку Клонру – и перед нами раскинулось болото; сперва заросшие ситником кочкарники – мы зовем это место Черная топь; а в самом конце этих заболоченных лугов, воздвигшись над ними на двенадцать футов, недобро хмурилось с высоты красное болото и топорщилось по краю пожухшим вереском. Темное и мрачное, раскинулось оно рядом с пестроцветными лугами; и мне в ту пору почудилось, будто угрожает оно человеку и его возделанным полям, его изгородям, и проселочным дорогам, и домам – угрожает мощью и тайной древней глуши, которая была здесь еще до прихода человека.

Среди полей ярким белым пятном выделялась хижина Марлинов; двуколка остановилась на *борине*, не доезжая одного поля до двери, – по тропе, условно отвоеванной у торфяника и пустоши, ничего сложнее тачки дальше и не проехало бы. На моих глазах из хижины вышла мать Марлина. В тот миг мне подумалось – да и впредь всегда так казалось! – что эта высокая, чуть сутулая, темная фигура не то чтобы на стороне тех, кто в поте лица своего отвоевывает эти поля у вереска, но скорее сродни тем силам, что царят или реют над болотом и до человека им дела нет. Она отошла на несколько шагов от крыльца, наполнила ведро водой из речушки, вытекавшей из болота, возвратилась с ведром обратно, – оно ярко сверкало рядом с ее темным силуэтом, – и вошла в дом и захлопнула дверь. Когда она скрылась внутри, хижина снова предстала тем, чем, собственно, и была – сторожевой заставой человека на краю захваченных полей, бастионом, противостоящим глухоти; но в тот момент, когда хозяйка вышла с ведром, мне словно бы померещилось, будто крепостью завладел враг, как будто под этим кровом поселилось нечто такое, что с глухотью в сговоре.

Я велел Райану приехать за мною в семь утра и зашагал вместе с Марлином к болоту. Еще не было и десяти; сегодня я рассчитывал пробыть на болоте долго как никогда. Отец обычно заставлял меня возвращаться домой к обеду и к ужину. Я не шел, а летел – думается, надежда окрыляла меня больше, чем тянули вниз патроны, но я, конечно же, запасаюсь ими в избытке; меньшего количества никак не хватило бы на всю ту дичь, что услужливо рисовала мне надежда. Марлин нес мой мешочек с бекасинником – мелкой дробью на бекаса, но карманы мои были набиты дробью и другого калибра.

– Вы, небось, и крупняк⁵ тоже взяли? – спросил Марлин.

– А как же, – кивнул я.

– Да не таскайте вы на себе эдакую тяжесть, сэр, – посоветовал он, – крупняк вам до темноты не понадобится.

И, проходя мимо хижины, он занес внутрь мой запас гусиной дроби вместе с моими сменными чулками и башмаками. Но «трешку» на уток я при себе оставил и несколько штук «пятерки». До чего же приятно было обсуждать с Марлином, дробь какого калибра я взял с собой: все эти мелкие технические нюансы были для меня еще внове и помогали ярче и живее вообразить все те богатые возможности, что сулила мне охота! Но только дойдя до края болота, где нас никто не подслушал бы из-за изгородей, Марлин наконец-то заговорил со мною об отце.

– Герцог-то уехал, – промолвил он.

– Уехал, – подтвердил я.

Марлин вздохнул и покачал головой:

– Зря он в политику ввязался.

– А что он такого сделал? – спросил я.

– Магуайра помните? – отозвался Марлин.

⁵ Речь идет о дроби с английской маркировкой «В» (4,32 мм) для охоты на крупную птицу (лебедь, гусь, дрофа); наиболее близкое соответствие по российским таблицам – дробь № 2 (4,25 мм).

Я не помнил; ну да это и не имело значения.

– Да как же, Магуайр – полицейский из Клонру, – объяснил Марлин. – А в холмах, было дело, прятались непростые люди. Не скажу, там они сейчас или нет; не скажу, что они такого натворили; так что вы никогда о том не узнаете, и, Бог меня побей, оно для вас к лучшему. А вот Магуайр знал и сообщил куда следует. А герцог прослышал, что они собираются убить Магуайра. Не мое дело, как герцог о том прослышал, и я о том ведать не ведаю, свидетель мне милосердный Господь. Но в тот день герцог прошел по улице Клонру и кинул записку в приоткрытое окно, под которым сидела с вязаньем жена Магуайра. Той же ночью Магуайр скрылся, а затем и его жена, оба уехали из Ирландии – и как в воду канули. Это случилось три года назад, но с тех пор герцог ни дня не был в безопасности, и сам он это понимал.

– Правда ведь, мой отец спасся? – спросил я, потому что сердцем чувствовал: Марлин наверняка знает.

– А то! – отозвался Марлин. – И я скажу почему. Ежели кто так знатно подготовился и с самого начала от погони далеко оторвался, так его поди поймай!

– Надеюсь, его не догонят, – сказал я.

– Его-то? Еще чего! Ищи ветра в поле! – подтвердил Марлин.

– За ним четверо приходили, – сообщил я.

Марлин на миг призадумался, как если бы прикидывал про себя, кто же были эти четверо; но тут уж я не поручусь.

– А вы ему помогали сбежать? – спросил он.

– Нет, – помотал головой я.

– Вот и славно, – подвел итог он. – Тогда эти люди ничего против вас не имеют. – И добавил, словно чтоб меня успокоить: – Да они в любом случае вас не тронули бы.

Но я-то знал, что еще как тронули бы – они ведь целились мне точнехонько в живот, пока я приносил клятву, – чтобы не повредить Крест Животворящий, если стрелять все-таки придется.

Мы беседовали совсем тихо, но бекасы нас услышали – и теперь один за другим взмывали вверх. Жаль, но похоже, что человеческий голос – самый страшный звук в природе, все живое его до смерти боится. Очень скоро я уже палил по бекасам – но не попал ни разу. А Марлин еще не довел меня до того места, откуда рассчитывал двинуться через торфяник, так, чтобы северный ветер дул нам в спину; вот он и утешил меня, говоря:

– Да не родился еще тот человек, который подстрелил бы бекаса, идя против ветра!

Это, конечно, было неправдой, хотя звучало обнадеживающе. Понятно, в бекаса попасть непросто, особенно на красном болоте, разве что идешь по ветру. Птица взлетает в сорока или даже пятидесяти ярдах от тебя и отлетит еще на двадцать, прежде чем ты успеешь выстрелить, – темным силуэтом на фоне еще более темной земли и веточек вереска. А вот если подходишь к ним по ветру, то дело другое, как некогда объяснил мне Марлин: они выпархивают тебе наперерез, чтоб поймать ветер и лететь ему навстречь, и разворачиваются, белея брюшком, а ты целишься с упреждением в несколько ярдов. Я как-то спросил Марлина, а почему бекас летит против ветра.

– Вот такая птица дурная – ей лишь бы супротив, – объяснил он. – Побей меня Бог, я и людей таких знаю.

Спустя какое-то время мы дошли до места, где торфяник заканчивался: рыхлый черный откос в два человеческих роста круто обрывался вниз, а дальше расстилалась ровная заболоченная луговина – кочкарник, заросший ситником. Там мы свернули, так, чтобы северный ветер дул нам в спину, и зашагали вглубь торфяника по вереску и мху, к вящему моему удовольствию. Я помню невысокие холмы, ограничивающие болото с двух сторон, помню кажущийся безграничным горизонт – и то, что за горизонтом; да, и это тоже я помню столь же ясно; мое воображение, подкрепленное рассказами Марлина, провидело за горизонтом нескончае-

мый вереск, и заводи, и мхи, раскинувшиеся сколько хватало глаз, вплоть до тех земель, о которых я слушал с такой радостью. Сдается мне, что всяко лучше, наслушавшись о неведомых землях за горизонтом, пронести эту картину в душе своей сквозь годы, как бы ни далека она была от реальной географии, нежели вообще не задумываться и не любопытствовать, а что там вдали. Помню еще, как сияла и лучилась бледная голубизна неба, словно зачарованного северным ветром. Впереди, на юге, пряталось солнце, но позади меня и на востоке сверкал и переливался купол небес, словно бы отдраенный дочиста, так что я частенько ловлю себя на мысли, что, может, в пору моей молодости солнышко и впрямь светило ярче. Под этим лучезарным небом мы несколько часов шли прямо, не сворачивая; то и дело вверх взмывал бекас и летел мне наперерез, блеснув белизной на темном фоне земли; шли мы, как я уже давно научился ходить, обоими глазами высматривая бекасов и каким-то образом умудряясь еще и под ноги поглядывать, чтобы наступать на надежный вереск и ни в коем случае не на один из тех переливатых мхов, которые одаривают болота такой красотой и, однако ж, отдадут тебя трясине, у которой, по словам Марлина, и дна-то нету. Твердой опоры для ног и опасных зыбунов над неизведанными илистыми глубинами, как мне помнится, встречалось примерно поровну. Всю дорогу, как только взлетала очередная птица, Марлин после моего выстрела либо деликатно утешал меня своим тихим, спокойным голосом, либо изредка достаивал похвалы. Нескоро я убедился на собственном опыте, что прав Марлин, объясняя мне: по бекасу надобно стрелять с упреждением; ведь мне казалось, глупо стрелять туда, где никакой птицы нет; но наконец я приноровился попадать в цель один раз на три промаха, а для зеленого юнца это очень даже неплохо. Один раз мы вспугнули вальдшнепа: после молниеносных бекасов он показался таким неуклюжим и медлительным – грузный, тяжелый, с большими ленивыми крыльями; я пальнул по нему из обоих стволов – а его уж поминай как звали; так я впервые начал осознавать то, в чем окончательно убеждаешься с годами: большие крылья вальдшнепу дают безо всякой спешки и суеты то же, что мелкому бекасику – суматошное проворство. Заяц на лежке среди вереска услышал наши шаги и запрыгал прочь по болоту, с каждым скачком поднимая каскады брызг – подобно половинкам серебряного колеса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.